



Без дороги



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

20 июня 1892 года. С-цо Касаткино

Теперь уже три часа ночи. В ушах звучат еще веселые девические голоса, сдерживаемый смех, шепот... Они ушли, в комнате тихо, но самый воздух, кажется, еще дышит этим молодым, разжигающим весельем, и невольная улыбка просится на лицо. Я долго стоял у окна. Начинало светать, в темной, росистой чаще сада была глубокая тишина; где-то далеко, около риги, лаяли собаки... Дунул ветер, на вершине липы обломился сухой сучок и, цепляясь за ветви, упал на дорожку аллеи; из-за сарая потянуло крепким запахом мокрого орешника. Как хорошо! Я стою и не могу насмотреться; душа через край переполнена тихим, безотчетным счастьем.

И грудь вздыхает радостней и шире,
И вновь кого-то хочется обнять...¹

Кругом все так близко знакомо — и очертания деревьев, и соломенная крыша сарая, и отпряженная бочка с водой под липами. Неужели я целых три года не был здесь? Я как будто видел все это вчера. А между тем как долго шло время...

¹ Из стихотворения А. А. Фета «Еще весна, — как будто неземной какой-то дух ночным владеет садом...» (1847).

Да, мало что хорошего вспомнишь за эти прожитые три года. Сидеть в своей раковине, со страхом озираясь вокруг, видеть опасность и сознавать, что единственное спасение для тебя — уничтожиться, уничтожиться телом, душою, всем, чтоб ничего от тебя не осталось... Можно ли с этим жить? Невесело сознаваться, но я именно в таком настроении прожил все эти три года.

«Зачем я от времени зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня». Мне часто вспоминаются эти гордые слова Базарова. Вот были люди! Как они верили в себя! А я, кажется, настоящим образом в одно только и верю, — это именно в неодолимую силу времени. «Зачем я от времени зависеть буду!» Зачем? Оно не отвечает; оно незаметно захватывает тебя и ведет, куда хочет; хорошо, если твой путь лежит туда же, а если нет? Сознавай тогда, что ты идешь не по своей воле, протестуй всем своим существом, — оно все-таки делает по-своему. Я в таком положении и находился. Время тяжелое, глухое и сумрачное со всех сторон охватывало меня, и я со страхом видел, что оно посягает на самое для меня дорогое, посягает на мое мирозерцание, на всю мою душевную жизнь... Гартман говорит, что убеждения наши — плод «бессознательного», а умом мы к ним лишь подыскиваем более или менее подходящие основания; я чувствовал, что там где-то, в этом неуловимом «бессознательном», шла тайная, предательская, неведомая мне работа и что в один прекрасный день я вдруг окажусь во власти этого «бессознательного». Мысль эта наполняла меня ужасом: я слишком ясно видел, что правда, жизнь — все в *моем* мирозерцании, что если я его потеряю, я потеряю все.

То, что происходило кругом, лишь укрепляло меня в убеждении, что страх мой не напрасен, что сила времени — сила страшная и не по плечу человеку. Каким чудом могло случиться, что в такой короткий срок все так изменилось? Самые светлые имена вдруг потускнели, слова самые великие стали пошлыми и смешными; на смену вчерашнему поколению явилось новое, и не верилось:

неужели эти — всего только младшие братья вчерашних. В литературе медленно, но непрерывно шло общее заворачивание фронта, и шло вовсе не во имя каких-либо новых начал, — о нет! Дело было очень ясно: это было лишь ренегатство — ренегатство общее, массовое и, что всего ужаснее, бессознательное. Литература тщательно оплевывала в прошлом все светлое и сильное, но оплевывала наивно, сама того не замечая, воображая, что поддерживает какие-то «заветы»; прежнее чистое знамя в ее руках давно уже обратилось в грязную тряпку, а она с гордостью несла эту опозоренную ею святыню и звала к ней читателя; с мертвым сердцем, без огня и без веры, говорила она что-то, чему никто не верил... Я с пристальным вниманием следил за всеми этими переменами; обидно становилось за человека, так покорно и бессознательно идущего туда, куда его гонит время. Но при этом я не мог не видеть и всей чудовищной уродливости моего собственного положения: отчаянно стараясь стать *выше времени* (как будто это возможно!), недоверчиво встречая всякое новое веяние, я обрекал себя на мертвую неподвижность; мне грозила опасность обратиться в совершенно «обесмысленную щепку» когда-то «победоносного корабля». Путаясь все больше в этом безвыходном противоречии, заглушая в душе горькое презрение к себе, я пришел, наконец, к результату, о котором говорил: уничтожиться, уничтожиться — совершенно единственное для меня спасение.

Я не бичую себя, потому что тогда непременно начнешь лгать и преувеличивать; но в этом-то нужно сознаться, — что такое настроение мало способствует уважению к себе. Заглянешь в душу, — так там холодно и темно, так гадко-жалок этот бессильный страх перед окружающим! И кажется тебе, что никто никогда не переживал ничего подобного, что ты — какой-то странный урод, выброшенный на свет теперешним странным, неопределенным временем... Тяжело жить так. Меня спасала только работа; а работы мне, как земскому врачу, было много, особен-

но в последний год, — работы тяжелой и ответственной. Этого мне и нужно было; всем существом отдаться делу, *наркотизироваться* им, совершенно забыть себя — вот была моя цель.

Теперь служба моя кончилась. Кончилась она неожиданно и довольно характерно. Почти против воли я стал в земстве каким-то *enfant terrible*;¹ председатель управы не мог равнодушно слышать моего имени. Подоспел голодный тиф; я проработал на эпидемии четыре месяца и в конце апреля свалился сам, а когда поправился... то оказалось, что во мне больше не нуждаются. Дело сложилось так, что я *должен* был уйти, если не хотел, чтоб мне плевали в лицо... Э, да что вспоминать! Я взял отставку и вот приехал сюда. Забыть все это!..

Большая зала старинного помещичьего дома, на столе кипит самовар; висячая лампа ярко освещает накрытый ужин, дальше, по углам комнаты, почти совсем темно; под потолком сонно гудят и жужжат стаи мух. Все окна раскрыты настежь, и теплая ночь смотрит в них из сада, залитого лунным светом; с реки слабо доносятся женский смех и крики, плеск воды.

Мы ходим с дядей по зале. За эти три года он сильно постарел и растолстел, побрякивает после каждой фразы, но радушен и говорлив по-прежнему; он рассказывает мне о видах на урожай, о начавшемся покосе. Сильная, румяная девка, с платочком на голове и босая, внесла шипящую на сковороде яичницу; по дороге она отстранила локтем полузакрытую дверь; стаи мух под потолком всколыхнулись и загудели сильнее.

— А вот у нас одно есть, чего у вас нету, — сказал дядя, улыбаясь и смотря на меня своими выпуклыми близоруками глазками.

— Что это? — спросил я, сдерживая улыбку.

— Мухи!

¹ Буквально: ужасный ребенок; *здесь* — человек, позволяющий себе то, на что другие не отваживаются (*фр.*).

Когда я еще студентом приезжал сюда на лето, дядя каждый раз слово в слово делал это же замечание.

Тетя Софья Алексеевна воротилась с купанья; еще за две комнаты слышен ее громкий голос, отдающий приказания.

— Палашка! Возьми простыню, повесь на дверь в спальне! Да зовите мальчиков к ужину, где они?.. Котлеты подавайте, варенец, сливки с погребом... Скорей! Где Аринка? А, яичницу уже подали, — говорит она, торопливо входя и садясь к самовару. — Ну, господа, чего же вы ждете? Хотите, чтоб остыла яичница? Садитесь!

Софья Алексеевна одета в старую синюю блузу, ее лицо сильно загорело, и все-таки она всем своим обликом очень напоминает французскую маркизу прошлого столетия; ее поседевшие волосы, пушистую каймою окружающие круглое лицо, выглядят как напудренные.

— А как же? Разве без барышень можно? — спросил дядя.

— Можно, можно! Пускай не опаздывают!

— Нет, это нельзя. Как же ты нас заставляешь нарушить рыцарский кодекс?

— Да ну, будет тебе! Ведь Митя голоден с дороги. Тоже — рыцарь! — сказала Софья Алексеевна с чуть заметной усмешкой.

— Ну, нечего делать: приказано, так надо слушаться. Что ж, сядем, Дмитрий? Вот выпьем водочки — и за яичницу примемся.

Он поставил рядом две рюмки и стал наливать в них из графинчика полыновку.

— А как водка будет по-латыни — *aqua vitae*? — спросил он.

— Да.

— Гм! «Вода жизни»... — Дядя несколько времени в раздумье смотрел на наполненные рюмки. — А ведь остроумно придумано! — сказал он, вскидывая на меня глаза, и засмеялся дребезжащим смехом. — Ну, будь здоров!

Мы чокнулись, выпили и принялись за еду.

— Где же, однако, барышни наши? — спросил дядя, с аппетитом пережевывая яичницу. — Я беспокоюсь.

— Ешь яичницу и не беспокойся. Барышни наши уж выкупались, — ответила тетя.

В саду под окнами раздались голоса, стеклянная дверь балкона звякнула и распахнулась.

— Ну, вот тебе и барышни наши: слава богу, за полверсты слышно.

Они шумно вошли в залу. Лица их после купанья свежи и оживленны, темные волосы Наташи влажны, и она длинным покрывалом распустила их по спине. Дядя увидел это и пришел якобы в негодование.

— Наташа, что это значит, что у тебя волосы распущены?

— Я ныряла, — быстро ответила она, садясь к столу.

— Так что ж такое?

— Соня, передай ветчину... Ну, так вот нужно, чтоб волосы просохли.

— Зачем это нужно? — изумленно спросил дядя и юмористически поднял брови. — Нет, взрослым девицам вовсе не подобает ходить с распущенными волосами! — сказал он, качая головой.

Но поучение его пропало даром; все были заняты едой и, удерживаясь от смеха, трунили почему-то над Лидой. Лида краснела и хмурилась, но когда Соня, проговорив: «спасайся, кто может!», вдруг прорвалась хохотом, то и Лида рассмеялась.

— Что это вы, Лида, в большой опасности находились? — вполголоса спросил я, невольно и сам улыбаясь.

Наташа быстро взглянула на меня и незаметно повела взглядом на отца; значит, здесь тайна, которую мне объяснят потом.

— А что же ты, Дмитрий, макарон к котлетам не взял? — спохватился дядя. — Дай я тебе положу.

Он наложил мне в тарелку макарон.

— У итальянцев макароны — самое любимое кушанье, — сообщил он мне.

Очень радушный хозяин дядя, но — признаться — скучновато сидеть между «большими», и, право, я давно знаю, что итальянцы любят макароны.

Пришли и мальчики. Миша — пятнадцатилетний сильный парень, с мрачным, насупленным лицом — молча сел и сейчас же принялся за яичницу. Петька двумя годами моложе его и на класс старше; это крепыш невысокого роста, с большой головой; он пришел с книгой, сел к столу и, подперев скулы кулаками, стал читать.

— Ну, Митечка, рассказывай же, что ты это время подделывал, — сказала Софья Алексеевна, кладя мне руку на локоть.

Наташа подняла было голову и в ожидании устремила на меня глаза. Но мне так не хочется рассказывать...

— Ей-богу, тетя, ничего нет интересного; служил, лечил — вот и все... А скажите, — я сейчас через Шеметово ехал, — кто это там за околицей новую мельницу поставил?

— Да это же Устин наш, разве ты не знал? Как же, как же! Уж второй год работает мельница...

И начался длинный ряд деревенских новостей. В зале уютно, старинные, засиженные мухами часы мерно тикают, в окна светит месяц. Тихо и хорошо на душе. Все эти девчурки-подростки стали теперь взрослыми девушками; какие у них славные лица! Что-то представляет собою моя прежняя «девичья команда»? Так называла их всех Софья Алексеевна, когда я, студентом, приезжал сюда на лето...

С конца стола донесся ярый рев, от которого все вздрогнули.

— Что такое? — грозно крикнула тетя. — Кто это там?

— Это — я! — торжественно объявил Петька.

— Ну, конечно, так и есть: кому же еще? Я тебе, дрянь-мальчишка!

— Это я читать кончил, — объяснил Петька.

Дядя поднял голову и, словно только что проснулся, повел кругом глазами.

— Э... э... Что это? — спросил он, побрякивая. — Должно быть, Петька опять дикие звуки испускает, а?

Ему никто не ответил. Он крикнул и подложил себе в чай сахару. Петька сидел, развалиясь на стуле, и широко ухмылялся.

— Крик могучий, крик пернатый... я в своем сердце ощутил... Крик ужасный, крик... неясный... я из себя испустил... Кхе-кхе-кхе! Как хорошо вышло!

И, совершенно довольный, Петька придвинул к себе тарелку и стал накладывать творогу. Кругом смеялись, а он старательно разминал ложкою творог с сахаром, как будто не о нем совсем шло дело.

Чай отпили.

— А что, Вера Николаевна, усладите вы сегодня наш слух своею музыкой? — спросил дядя.

Вера, племянница Софьи Алексеевны, — стройная, худощавая блондинка с матово-бледным лицом и добрыми глазами; она собирается осенью ехать в консерваторию, и, говорят, у нее действительно есть талант.

— Да, да, Вера, — сказал я. — Сыграйте-ка что-нибудь после ужина; я в Пожарске столько слышал о вашем таланте.

Вера восторженно вскрикнула.

— Ах, господи! Митя, я вам наперед говорю: если вы такие вещи говорить будете, я н-ни за что не стану играть!

— Да не беспокойтесь, пожалуйста, я вот сначала послушаю. Очень может быть, что после этого и не стану говорить.

Дядя засмеялся и встал из-за стола.

— Ну, кажется, все уже кончили. Докажите ему, Вера Николаевна, что и Пожарск может собственных Невтонов родить!

Все перешли в гостиную. Вера села за рояль, быстро пробежала рукой по клавишам и с размаху сильно ударила пальцем в середине клавиатуры.

— Что же вам сыграть? — спросила она, повернув ко мне голову.

— Это всегда так знаменитые музыканты начинают! — почтительно произнес Петька и ткнул указательным пальцем в Верин палец, нажимавший клавишу.

— Да ну, Петя, будет! — рассмеялась она, стряхивая его руку.

Тетя отогнала Петьку от рояля.

Я попросил играть Бетховена. Наташа широко распахнула двери балкона. Из сада потянуло росой и запахом душистого тополя; в акации щелкал запоздалый соловей, и его песня покрылась громкими, дико-оригинальными бетховенскими аккордами. В зале, при свете маленькой лампочки, убирали чай. Дядя сопел на диване и слушал, выкатив глаза.

Я мало понимаю в музыке; я даже не мог бы сказать, горе или радость выражены в сонате, которую играла Вера; но что-то накапливает на сердце от этих чудных, непонятных звуков, и хорошо становится. Вспоминается прошлое; многое в нем кажется теперь чуждым и странным, как будто это другой кто жил за тебя. Я мучился тем, что нет во мне живого огня, я работал, горько смеясь в душе над самим собою... Да полно, прав ли я был? Все жили спокойно и счастливо, а я ушел туда, где много горя, много нужды и так мало поддержки и помощи; знают ли они о тех лишениях, тех нравственных муках, которые мне приходилось там терпеть? А я для этого сознательно отказался от довольной и обеспеченной жизни... И принес я с собой оттуда лишь одно — неизлечимую болезнь, которая сведет меня в могилу.

Вера играла. Ее бледное лицо смотрело сосредоточенно, только в углах губ дрожала лукавая улыбка; пальцы тонких, красивых рук быстро бегали по клавишам... О да! Теперь бы и я мог уверенно сказать: сколько задорного, молодого счастья в этих звуках! Они знать не хотят никакого горя: чудно-хороша жизнь, вся она дышит красотой и радостью; к чему же выдумывать себе какие-то муки?... Вершины топей, освещенные месяцем, каждым листиком вырисовывались в прозрачном воздухе; за рекою, на